

Даниил Лукич Мордовцев

Наносная беда

Москва
Книга по Требованию

УДК 82-3
ББК 84

Даниил Лукич Мордовцев

Наносная беда / Даниил Лукич Мордовцев – М.: Книга по Требованию, 2011. – 124 с.

ISBN 978-5-4241-1986-6

Историческая беллетристика Даниила Лукича Мордовцева, написавшего десятки романов и повестей, была одной из самых читаемых в России XIX века. Не потерял интерес к ней и в наше время.

В повести "Наносная беда" рассказывается об эпидемии чумы 1770-го года в Москве, занесенной русскими войсками с русско-турецкой войны.

ISBN 978-5-4241-1986-6

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Мордовцев Даниил Лукич
Наносная беда

Даниил Лукич МОРДОВЦЕВ
НАНОСНАЯ БЕДА
Историческая повесть времени чумы на Москве
ОГЛАВЛЕНИЕ:

Часть первая

- I. Кагульская цыганка
- II. "Она, анафемская, летает..."
- III. Карантин. Бегство Заброди
- IV. "Моровой манифест"
- V. Локон мертвеца
- VI. "Чума по Москве ходит"
- VII. Еропкин и Амвросий
- VIII. "Девочка забрала себе в голову"
- IX. Сказание о "пифике". Встреча
- X. Смерть грешников люта!

Часть вторая

- I. Гроза надвигается
 - II. "Богородицу грабят!"
 - III. Убиение Амвросия
 - IV. Усмирение "Богородицыных ратничков"
 - V. Небывалый манифест
 - VI. Конец чумы
-
-

А н н о т а ц и я р е д а к ц и и: Творчество писателя и историка Даниила Лукича Мордовцева (1830 - 1905) обширно и разнообразно. Его многочисленные исторические сочинения, как художественные, так и документальные, написанные, как правило, с передовых, прогрессивных позиций, всегда с большим интересом воспринимались современным читателем, неоднократно переиздавались и переводились на многие языки. Из богатого наследия писателя в сборник вошли произведения, тематически охватывающие столетие русской истории: "Сиденье раскольников в Соловках" (конец XVII века), "Державный плотник" (о Петре I) "Наносная беда" и "Видение в Публичной библиотеке" (время Екатерины II)

Часть первая

I. КАГУЛЬСКАЯ ЦЫГАНКА

Весною 1770 года отряды русских войск после жарких победных схваток под началом генерала фон Штофельна с передовыми турецкими отрядами в окрестностях Кагула и Галаца двигались по распоряжению главнокомандующего графа Румянцева-Задунайского вдоль правого берега Прута к Яссам.

Несмотря на то, что это было еще в начале мая, дни стояли знойные. От утра до ночи раскаленное солнце, утомительно медленно двигаясь по голубому, такому же, по-видимому, знойному небу, ни разу вот уже несколько дней не встреча-

ло на нем ни одного облачка, которое могло бы заслонить собою хоть на час это безжалостное, раскаленное Богом добела и брошенное над томящеюся от зной землею неотразимое ядро. Степь - голая, серая, выжженная солнцем, словно проклятая Богом пустыня, не дает ни тени для освежения наболевшей от жару головы, ни влаги, чтобы промочить пересохшее, как и эта безжалостная степь, горло. Пруг отошел далеко в сторону, словно бы и ему опостыхла эта серая, мертвая пустыня, и не на чем отдохнуть утомленному однообразием глазу, не на чем остановиться притупленному вниманию. Медленно и нестройно, словно после поражения, плетутся отряды в этом пекле, в "вавилонской печи огненной", как обозвал с досады эту знойную степь отец Сила, полковой священник Азовского полка.

Отец-иерей лежит в фургоне, вместе с обозом, следующим за отрядами, и от времени до времени высовывает из своего колесного шалаша всклокоченную бороду и заспанные глаза, чтобы в сотый раз удостовериться, что нет впереди ни воды, ни лесу.

- И впрямь пустыня Аравийская, - ворчит он, пряча голову под навес кибитки.

Солдаты, большею частью босиком, с казенными башмаками и ранцами за спиной, медленно идут там кучками, словно овцы, там врассыпную, как дудаки в степи, и редко-редко перекидываются то остротами, то крепким словом, то руганью на жарынь и другими замечаниями критического свойства. Обозные лошади немилосердно фыркают, отбиваясь от мух, слепней и оводов. Едва влекомые усталыми артиллерийскими конями медные пушки до того накалены, что к ним бояться дотрагиваться утомленные солдатики. И пехота и конница, животные и люди, даже полковая косматая собачка Малашка, - все это чувствует на себе тягость знойного перехода.

- Что, "хохли - все подохли", тепло? - спрашивает загорелый, веснушчатый, с красными бровями и рыжими ресницами юркий солдатик своего мешковатого товарища с черным как голенище лицом.

- Э! До чертова батька тепло.

- А пить небось хочешь?

- Ще б не хотить! Аж шкура болит.

- Квасу бы, поди? А?

Товарищ молчит, насупился, сопит и шагает.

- С ледком бы кваску? А, хохли, ладно бы чу?

Молчит "хохли" на такую неуместную шутку. Напоминать о квасе со льдом в этом пекле, да это нож острый!

- А ты язык высунь, полегшает.

- Да замовчи ты, собачий сын! - сердится хохол.

- Я толком тебе говорю, высунь... Вон видишь, Малашка поумней тебя, высунула небось.

Собака, услышав свое имя, подбежала к солдатам, махнула хвостом в знак внимания.

- Видишь, - продолжал рыжий, указывая на собаку, - она высунет язык, слюни у нее текут.. Ну, ей и квасу не надо..

Мешковатый хохол хотел сплюнуть с досады, но во рту не оказалось даже слюны.

- Тьфу ты, черт! От бисова турчина!
- А ты пулю в рот положи, это помогает.
- Яку пулю?
- Да вот яку.

И рыжий, вынув изо рта пулю, показал ее хохлу. Собака тоже любопытствовало узнать, что там такое, не съедобное ли...

- Что, Маланья, и тебе пулю дать? - продолжал рыжий. - Да ты, сучья дочь, проглотить ее, а пуля-то казенная. А ты вот что, хохли, слушай меня: положи пулю в рот, она сок даст.

- Что ты брешешь?

- Пес брешет, а не я... Эдак старые солдаты всегда делают: коли пересохло во рту, бери пулю... В ей, братец ты мой, вода есть; вот она штука-то какая...

Где-то позади, в обозе, поет чья-то протяжная песня:

Вылетела голубица на долину,

Выроняла сизы перья на травину...

В это время в передних отрядах послышались радостные возгласы. Они переходили от группы к группе.

- Что там? Уж не турки ли?

- Вода! Вода-матушка, братцы!

- Ведро выпью, - сурово пробормотал оживившийся хохол.

Маланья, видя общую радость, визжала от счастья, перебегая от одного солдата к другому. Лошади ржали. Отец Сила торопливо рылся в фургоне, ища дорожный баклажек.

- Яко слепь на источник водные стремится, радуясь, - бормотал он.

Скоро сделали привал на берегу Прута. Везде стоял гул невообразимый. Солдаты и лошади торопились к воде, последние бились, рвались из упряжи. Маланья чуть ли не первую забралась в воду и, налкавшись властью и выкупавшись, неистово лаяла, цепляясь за морду лошади, которая торопилась к воде. Походная жизнь научила умную собаку некоторым кавалерийским приемам: она знала, что солдаты не позволяют лошадям пить воду тотчас после похода, пока они не остыли, и продувная собачонка не пускала лошадь к воде...

- Держи ее, держи, Маланья! - подзадоривал рыжий, стоя на карачках и смачивая водой свою рвущую голову.

Хохол, исполнив обещание, выпил чуть ли не целое ведро воды, и мыл свои усталые ноги. Другие солдаты купались. Отец Сила, стоя на берегу в одном подряснике, рассуждал сам с собой:

- Се вода, что возбуждает мне купаться?

Место для привала было великолепное. Ровный, несколько обрывистый к реке берег Прута местами покрыт был прошлогодним пересохшим камышом, сквозь который проросли стебли нового, зеленого и заглушали эту отжившую старость. Кое-где торчали, словно горбатые и неуклюжие старухи, толстые, дуплястые стволы ивняка-тополя, с тонкими, словно не им принадлежащими и врозь раскинутыми ветвями, на которых уже висели солдатские ранцы, наскоро вымытые рубахи, плохо вымытые портянки и запыленные башмаки. Там-сям уже курился дымок, то солдаты развели огни, чтобы сварить себе каши, у кого была крупа, или смастерить сахарные щи с диким щавелем, росшим по берегу. По временам, в общем гуле голосов и лошадиного ржания слышался звонкий голос

полковой Маланьи, которая гонялась уже в камышах за молодыми утиными выводками...

Полковому начальству успели разбить палатки, и там между офицерами шли оживленные толки о войне, об удачных поисках за турецкими отрядами. Упомянулись имена Румянцева, Суворова, Орлова...

- Помогли бы нам черногорцы с той стороны да сербы, так мы бы и до Константинополя дошли, - говорил полковник фон Шталь, сухопарый немец с холодными глазами.

- Матушка-императрица писала графу: "Подожгла-де я турецкую империю с четырех концов"... Загорится ли только? - заметил генерал фон Штофельн.

- Как солома вспыхнет, ваше превосходительство, - бойко отвечал молодой белокурый офицер. - У нашей государыни рука легкая... Да и чума нам поможет...

- Так-то так, молодой человек, - задумчиво возразил фон Штофельн, только чума, государь мой, опасный союзник...

- К нам она не пристанет... Она больше любит азиатов...

- Дай-то Бог...

Недалеко от генеральской палатки, у самого берега реки, на небольшом коврике, разостланном под тенью старого тополя, сидели три молоденьких сержанта. Один из них, прислонившись спиной к стволу дерева и подперев голову руками, сидел молча, а двое других, покуривая трубки, изредка перекидывались замечаниями, видимо, наслаждаясь отдыхом.

- Да что ты, Саша, такой скучный? - спросил один из них, сильный брюнет с серыми глазами, обращаясь к тому, который молчал, склонив голову на руки. - Все об невесте тоскуешь?

- Не знаю, так, тоска какая-то, - отвечал тот, не поднимая своей белокурой курчавой головы.

- Ну, вот еще! Так напустил на себя...

- Нет, не напустил... А мне что-то страшно.

- Чего же страшно? Турок здесь нет, да ты и не из трусливого десятка.

- Я и сам не знаю. Но такая тоска, такая смертная тоска, что хоть утопиться, так впору...

А в обозе, позади артиллерии, опять поет заунывная, тоскливая песня:

Заной, заной, сердечушко - эх, ретивенькое!

Кормил-поил красну девку - эх, и прочил за себя!

Досталась моя любушка - эх, иному, не мне,

Эх, что иному, не мне - лакею-свинье...

Молодые люди засмеялись. Не смеялся только тот, который говорил, что его сосет тоска.

- Еще бы! Кормил-поил, а она досталась свинье-холую, - заметил другой сержант с непомерно широкими плечами. - Ну, а твоя Лариса тебе и достанется... О чем же тосковать?

- Я сам не знаю, но это вот уж несколько дней... С той самой ночи, как мы языка добывали под Кагулом... У меня из ума нейдет старая цыганка...

- Какая цыганка?

Тот, к которому относился этот вопрос, сначала как бы что-то припоминал, безмолвно глядя в далекое пространство, открывающееся за Прутом, а потом,

приложив ладони к вискам и крепко сжав голову, со вздохом заговорил:

- Я уж думаю, что она испортила меня. Я вам не говорил об этом... А вот как было дело: казаки выследили цыгана, который ночью пробирался через нашу цепь, и донесли об этом полковнику. Полковник тотчас же послал меня с тремя казаками достать этого цыгана. Ночь была темная, зги не видать... Тихо кругом, так тихо, что слышно, как сердце у тебя стучит под кафтаном... Ползком мы пробрались к цыганскому табору - там все спали... Один шалаш стоял далеко на отшибе, у овражка, и там светился огонек... В овражке лежал наш сторожевой казак... Из овражка мы и подобрались к шалашу... Цыган только что собирался уходить, должно быть, к туркам, к Кагулу, как мы повалили его, связали и заклепали ему рот... В этот момент из шалаша выползла цыганка, схватила было меня за руку, но я наставил ей кинжал в грудь... Я зажал ей рот и втащил в шалаш... Там и ее связали... А она, проклятая ведьма, припала к моей руке и ну целовать ее... Я отдернул руку. А она ощерила свой страшный беззубый рот и говорит: "Помни кагульскую цыганку Мариулу, помни... Я поцеловала твою руку... Помни поцелуй Мариулы, я посылаю его всей вашей проклятой земле... Я..." Только ей не дали договорить заклинанья, казак отрубил ей голову шашкой... кровь брызнула мне в лицо, ужасная седая голова, скатившись на землю, хлопала глазами, какие страшные белки!.. и язык высунула, длинный, белый, страшный... О! Я не могу забыть этой ужасной, хлопающей глазами головы, мертвой головы. Она заклала меня, испортила...

А из обоза опять доносится песня:

Подуй, подуй, погодушка - эх, не маленькая!

Раздуй, развей рябинушку - эх, кудрявенькую!

- Проклятая песня!..

- Зачем проклятая! Наша родная, рязанская...

- Душу всю вымотала...

Настали прохладные сумерки. Костры все ярче и ярче разгорались. Знойный день забыт, забыты все трудности и опасности войны, тяжелые переходы, безводье, бесхлебье...

В обозе тренькает балалайка, а под это треньканье бойкий голос выгаркивает:

Вниз по Волге по реке,

У Макарья в ярмонке,

У Софонова купца,

У гостинова двора,

Солучилася беда

Что беда-беда-беда,

Эх, не маленькая!..

К утру молодой сержант метался в жару.

- Что, Сашка, голова болит? - спрашивают товарищи.

- Ох, как болит! Я не встану уж.

- Полно! Что ты! Простая лихорадка...

- Нет, я умру... Тут огонь...

Больной силился расстегнуть ворот рубашки... На голой, покрывшейся красными пятнами груди блеснул маленький образок-складень...

- Какой он горячий... Тут ее волосы... Ах, Лариса... милая... не видать уж мне

тебя...

- Перестань, Саша... Сейчас доктор придет...

Больной прижал образок к пересохшим губам... Две слезы выкатились из-под отжелевших ресниц и скатились с горячего лица на ковер.

- Когда я умру, положите со мной ее волосы... а образок отвезите ей, и мои волосы к ней отвезите... она просила...

- Ах, Саша, Саша!

- Мариула... это она, проклятая... "Помни Мариулу кагульскую"... Мертвые глаза хлопают... белки страшные... Мертвым языком она прокляла меня... Ох, душно... горит... дайте воды... льду... бросьте меня на лед... утопите в проруби...

Из-за приподнятого полога палатки показалось круглое, веселое, лоснящееся лицо.

- А! Доктор!

Доктор шариком вкатился в палатку.

- Что, батенька, лихорадочку стяпали, молдаваночку? А? Стяпали-таки? - улыбаясь и потирая круглые, пухлые руки, тараторил кругленький, словно на вате, доктор. - Лихорадушки-трясунюшки, в жар метанюшки... а?

- Нет, доктор, хуже...

- Те-те-те! Уж и хуже... Пустячки, батенька. А покажите язычок.

Больной с трудом открыл пересохший рот с запекшимися и растрескавшимися губами и показал кончик языка.

- Те-те-те... беленький-желтенький-сухенький... Ну, и глазки не веселенькие... Так, так... лихорадушку, батенька, стяпали... А мы ей, шельме, хинушки-матушки, да бузинового чайку, да ликворцу эдакого какого-нибудь, да господина Кастора Проносихина, да еще там того-сего сладенького, ну, и ее, шельму, как рукой снимет.

Смеясь и каламбуя, доктор, однако, зорко всматривался в его горящее лицо, в мутные глаза, в багровые пятна на груди.

- Ишь ты, шельма... Нет, батенька, мы ее в шею... Вот придут солдатики с носилочками да понесут вас, дружка милого, в лазаретный фургончик, там помягче, подушечнее будет...

- И я не умру, доктор?

- Ай-ай-ай! Уж и умру... Пустяки, батенька... Еще на свадьбе попируем.

- Ох, горит там... Лариса... милая... Матушка...

- То-то, Лариса... Занозила, знать... Ну, с Богом...

И доктор выюркнул из палатки. За ним вышел один из товарищей больного.

- Ну что, доктор, он опасен?

- Ничего, пустяки... Только вы, батенька, подальше от него: у него, шельмовство, гнилая горячечка... прилипчивая, сука, у! Прилипчивая!

- Так нет надежды?

- Пустяки! Как нет? Денька два повалается...

- И встанет?

- Ну, уж встать где же!

- Как! Отчего же так долго?

- Да оно, батенька, недолго... Может, и сегодня Богу душу отдаст...

Черномазый сержант отскочил в ужасе:

- Что вы!

- Ничего... все пустяки... Тут отвертеться нельзя, вся кровь заражена. Завтра же похороним... Все же лучше умереть тихо, на постельке, а не под ножом у нашего старшего мясника, где-нибудь на перевязочном пункте... Там умирать неспокойно. А у нас... Ведь, подумайте, батенька, какое блаженство умереть на чистенькой подушечке с руками и ногами целехонкими, без крику, без гаму... Малина, а не смерть! Прощайте! Сейчас придут носильщики. А вы руки-то себе укуском помойте, да и вообще, одним словом, подальше от этой шельмы-молдаванки...

И доктор исчез за палаткой. А больной, лежа на своем жестком ковре, бессмысленно глядел на синее небо из-за полога яркое небо, которое обещает и сегодня быть таким же спокойным, каким было вчера... Вход в палатку обращен на север, туда, далеко-далеко, к родному краю... Там не так жарко, не так душно... никогда душа не горела там таким адским огнем.

Ох, тяжело... Седая голова качается... нет, это голова старой матери грезится наяву, а не страшная отрубленная голова цыганки... Кротко смотрят материнские глаза, так кротко, что, глядя в них, плакать хочется...

Из-за полога показывается морда собачонки и, весь в репейниках, хвост.

- А! Это ты, Малаша...

Малаша вбегает в палатку и радостно вертится около больного, стараясь лизнуть его руки, лицо.

И та страшная цыганка кагульская хотела лизнуть... Какой язык... какие белки!..

Входят носильщики. Что это у них на руках? Что-то черное... Смоляные рукавицы...

Вместе с ковриком его поднимают с земли и кладут на носилки.

"Так носят убитых... Разве я убит?" - думается смутно.

Несут... голова кружится... небо голубое-голубое, а словно оно опрокинулось... вертится... тополи куда-то бегут... Птица какая-то низко-низко проносится в воздухе и заглядывает в глаза... Чего ей нужно?..

Заной, заной, сердечушко - эх, ретивенькое!

"Что это, поют? Нет, это кто-то плачет... О ком?"

Прошел и этот знойный день. Ранним утром, у берега, на пригорке, рыжий, с красными бровями солдат и мешковатый хохол копают могилу. Глубоко уже выкопали, так глубоко, что рыжей головы копальщика уже не видать оттуда. Из ямы вылетают только комья желтой сырой земли. Тут же и собачонка, которая любопытствует заглянуть в яму...

- В холодке будет лежать молодой сержант, - говорит рыжий солдат, отирая пот со лба. - Ну, будет.

Хохол молча подает руку и вытаскивает товарища из могилы. Собака радостно ластится к нему: она боялась, что рыжего заруют там.

А вон и его несут, того, которого заруют... Отец Сила с крестом впереди, многих он проводил с этим крестом... А "он" не он уже: это что-то завернутое в белый холст - ни лица не видать, ни рук, ни ног - просто белый мешок, несомый на носилках привычными руками в смоляных рукавицах... Э! Мало ли их переносено!..

Ставят носилки у самой могилы... Батюшка что-то читает... "Земля еси и в землю отыдеши"...

А небо такое голубое, такое высокое... "Земля еси"...

II. "ОНА, АНАФЕМСКАЯ, ЛЕТАЕТ..."

Холодное осеннее утро. Чуть брезжут на небе медленно потухающие звезды. В морозном воздухе далеко разносится какое-то, словно бы усталое,бряканье колокольчика. Привычное ухо отличает в этом бряканье голоса почтовых колокольцев.

Там, откуда несутся эти усталые позвякивания, темно еще, ночные тени не сходят еще с земли. Да и везде кругом темень, ночные тени. Только вдоль одного воскрайка неба, к северу, тянется неровная линия каких-то зловещих огней: не то горят разложенные костры, не то полоса пожаров растянулась от одного края горизонта до другого - то ярко вспыхнут и трепыхаются огненные пасмы, то мигают во мраке отдельные огненные пятна и точки, словно глаза волка, в глухую ночь пробирающегося к овечьему загону.

Что это такое?... Что за зарево?

Звяканье колокольцев все ближе и ближе. Из тьмы неясно вырисовываются очертания дуг, лошадиных голов, каких-то повозок... Ближе и ближе, яснее и яснее выступают из мрака кони, повозки, очертания возниц, людей.

Проезжающие в двух повозках: одной, крытой к задку, кузовом, другой простой ямской телеге. Они-то и звякают сонными колокольцами.

Жутко, страшно смотреть издали на эту неведомую линию огней и дыма с куревом... Да, виднеется и дым по мере приближения к линии огней... Словно земля вспыхивает и горит - и страшен вид этой горящей земли. Кто же жжет землю?

Вон бродят какие-то тени около огней. Виднеются шесты, колья, дубье и еще что-то длинное в руках этих зловещих человеческих теней.

- Что это за зарево? - тихо спрашивает молодой, в дубленом полушубке с военными нашивками проезжий, что в первой повозке. - Разве под Москвой, у Коломны, паливали когда степи, как палят их по Дону, на низах да по Пруту в Бессарабии?

- Не степи палят, а это, поди, бекеты, - так же тихо отвечает другой, рядом с первым сидящий проезжий, одетый в волчью шубу.

- Зачем бекеты? Какие?

- Сторожевые... карантенные... Вот влопались!

- Что ты, Игнатий! Ужли карантен? Вот беда! - испуганно воскликнул первый.

- Что? Что такое? - удивленно спрашивает третий путник в медвежьей шубе, проснувшийся от восклицания первого.

- Беда, полковник... На карантен наткнулись, кажись... Бекеты...

- Да их к Москве не было...

- Вон огни... курево... народ.

А огни все ближе, ярче, зловещее... И зловещие человеческие фигуры с дубьем, длинными шестами и баграми тоже надвигаются ближе...

- Стой! Кто идет? - раздается голос из кучки, загордившей дорогу.

- Остановь лошадей! Ни шагу!

Окрики грозные, решительные. Так даром кричать не станут... Дело нешуточное, окрик ставят ребром...

Повозки останавливаются. Дубье, шесты, багры, кулаки в чудовищных рука-